

Руфь Зернова

Иная реальность

Мой первый приход к Ахматовой нельзя назвать удачным. Это было в сентябре 1936 года; за месяц перед тем я приехала в Ленинград из Одессы сдавать экзамены в Институт философии, литературы и истории (ЛИФЛИ), который в том же году стал филологическим факультетом Ленинградского университета. Конкурс туда был большой – человек восемь на место (потом, рассказывая об этом, мы, поступавшие, охотно привирали: десять! двенадцать!). Это был первый год, когда в высшие учебные заведения стали принимать без учета социального происхождения (весной на съезде ударников или стахановцев Сталин обмолвился: «Сын за отца не отвечает!» – и этой обмолвке почти немедленно была придана сила закона). Кроме того, стали принимать без экзамена отличников, то есть тех, кто окончил среднюю школу на пятерки. Вероятно, из-за этого и конкурс становился больше. Так или иначе, я, к немалому моему удивлению, по конкурсу прошла и даже место в общежитии в конце концов получила, и стипендию.

И когда я стала студенткой и ленинградкой, я пошла отыскивать Ахматову.

Я, конечно, совсем не была уверена, что она еще жива. Она принадлежала – и ее беленькие небольшие книжки тоже – к тому времени, от которого ничего не осталось. Ни поэтов, ни титулов, ни гимназий, ни купцов. Никого. Если кто и не умер (мы в десятом классе проходили Бунину, Зайцева и Шмелева – всех вместе), то уехал за границу. Практически это было одно и то же. Я знала, что Блока нет, и Гумилева тоже, и Сологуба, и Игоря Северянина – обо всех о них рассказывалось в учебнике, с цитатами: «Так, что

сыплется золото с кружев, / С розоватых брабантских манжет». Именно эту цитату вспоминают теперь все, словно все запомнили ее по учебнику Поляк и Тагера.

Я знала, что Ахматова – это псевдоним (наверное, от бабушки-татарки!), и знала настоящую фамилию – Горенко, вероятно, из Литературной энциклопедии. И вот я пошла в справочное бюро – его будочки были тогда на многих улицах – и заполнила справку, и заплатила 20 копеек. И девушка в будочке сказала, чтобы я пришла через полчаса. Я погуляла полчаса по Невскому, все еще, как в первый день, изумляясь его огромности, простору, излишнему, ненужному: чувствуя, что опустел – опростался – опростился; опустел после тех лет, когда тут ходили другие люди. Вообще, Невский и потом меня этим поражал: не пустотой, а опустением.

Через полчаса я получила этот адрес: «Горенко Анна Андреевна, Фонтанка, 34, кв. 44». Помню адрес наизусть с той самой минуты – он легкий, много лет спустя в ее стихах я прочла: «Фонтанный дом». Это получалось вроде Бахчисарайского фонтана, загадочно, красиво, с нежным повтором полугласных «н». То был огромный грязный дом с огромным темным двором – и, кажется, даже не одним, и это был дом Главсевморпути, название, знаменитое в те годы. Главсевморпуть – это челюскинцы, Отто Юльевич Шмидт, капитан Воронин и девочка Карина, и отважные летчики, Герои Советского Союза, которые их спасали, – Молоков, Ляпидевский, Доронин, Леваневский... Господи, сколько же лет это сидит в моей голове! Факт тот, что тогда, в тридцать шестом, не было в Советском Союзе, за исключением разве НКВД, более популярного названия. Один из родительских друзей работал там и летал с Молоковым. Куда летал? На речку какую-то, где золотые прииски, на Колыму. Вот тогда я услышала первый раз это название.

И вот в доме с самым знаменитым, самым современным названием жила Анна Андреевна Горенко, обломок, остаток чего-то, бывшего так давно – еще до моего рождения! – что как бы почти не бывшего; Анна Андреевна Горенко, которую никто не вспоминал, вернее, не помнил, кроме меня и, может быть, еще нескольких человек, таких же несовершенных и отсталых, как я.

Я поднималась по узкой черной лестнице куда-то высоко, и позади меня поднимался чужой человек с усами и чему-то усмеялся, и я его спросила, не знает ли он, тут ли живет Анна Андреевна (я по-южному каждое «е» растянула, потом оказалось, что говорить надо «Андревна») Горенко. Он, кажется, не совсем сразу ответил: «Тут, тут». И потом, помедлив, спросил:

– А отчего это вы ее девичьей фамилией называете – Горенко?

И от этого вопроса я смутилась, я и так только сейчас начала думать: а зачем, собственно, я иду?

И, собственно, с этим недоумением и маленьким ужасом я вошла – вслед за усатым человеком, который, конечно же, там жил. Он мне не понравился – из-за усов, из-за маленького тика, который вздергивал его нос, из-за того, что напоминал мне диккенсовского негодяя-француза из «Крошки Доррит», у которого усы вздергивались к носу, а нос опускался над усами, и потому, что он не входил, никак не помещался в мое представление о маленькой комнатке, где совершенно одинокая, тихая и всеми забытая живет старушка Ахматова. Он оказался Николаем Николаевичем Пуниным. Отродясь я не слышала этого имени и уж совсем не могла понять, что он тут делает.

Комната, в которую он меня впустил, показалась мне огромной. Вообще, после Одессы ленинградские комнаты казались бальными залами. У нас тоже была когда-то гостиная, которая всем казалась большой, но какое же может быть сравнение! Хотя в Ленинграде жилплощадь измерялась по-современному – метрами, а в Одессе по-старому – саженьями. Но вот эта комната... Светлая, и пол паркетный, не натертый, только паркетины тоже были другие, не как у нас – крупнее, и посреди комнаты стоял стол, тоже огромный, и на нем была куча не убранной чайной посуды, и были еще какие-то двери кроме той, в которую мы вошли. И там мимо дверей проносились какие-то старухи в капотах – или, может быть, одна и та же? – но мне казалось, что много старух вихрем проносятся мимо. И человек с усами весело и громко сказал: «Аня(!!!), к тебе».

Из другой двери – не той, где носились старухи в капотах, – вышла женщина, такая худая, каких я никогда не видела, с выпученными огромными светлыми глазами, с длинной шеей, с длинной

головой и с длинной сизой челкой, непричесанная, в каком-то халате безнадёжного цвета.

Из всего, что я ожидала, подтвердилось одно: тишина. И то не тишина – молчанье. Никакой светской беседы. Вообще никакой беседы. Мы сидели рядом на диване – был, значит, в этой комнате старый диван, клеенчатый, – и я что-то лепетала, даже мне самой неинтересное, и только пялилась, пялилась на живую Ахматову, страшную, как баба-яга, которой детей пугают. Потом Гуковский мне сказал, что у нее базедова болезнь.

Меня особенно поразили в ее внешности тяжелые веки. Веки, которых хватало на то, чтобы прикрывать эти огромные вылезавшие из орбит глаза. Теперь мне кажется, что она, ее внешность и неряшливый вид в том числе, и особенно эти веки, – что все это было воплощением, скульптурным выражением трагедии.

Я что-то лепетала или лопотала, – хотя, в общем, не очень-то умею это делать, но, вероятно, я бессознательно хотела казаться еще моложе, то есть притворялась, как могла, а она все молча слушала.

И только одну ее фразу я помню. Когда я сказала, что не верю себе, что вижу Ленинград, она ответила:

– Да, я тоже так, когда была в Париже.

Каковой фразой она меня окончательно добила, потому что Париж – это уже то, чего в реальности навсегда и окончательно нет. Только в книжках. Мы тогда все знали, что за граница – это миф о загробной жизни.

Были, в основном, ее молчания – она в ответ на мое негромкое лопотанье только опускала голову, как бы медленно кивала. Почти не улыбалась. Что-то вроде прошло около ее губ, когда я враждебно (тихо) спросила об усатом человеке: отчего он тут или зачем он тут?

А он был тут, веселый и довольный, и когда я собралась уходить, он весело говорил мне:

– Приходите, приходите к нам еще! Стихи читаете!

Я всегда говорю, что никогда не писала стихов. Это не совсем правда. Пыталась – и все рифмовалось и ритмовалось, как надо, но даже меня эти мои стихи не интересовали; делала я это пото-

му, что хотела быть не хуже Лены Фельдман, девочки моего возраста, которая была прирожденным поэтом и, кажется, никогда не напечатала ни одной строчки. Но даже я даже тогда понимала, что ее и мои стихи из разного материала: мои как из детских кубиков, а ее словно бы сгущены из неких благородных газов, которые только по колдовству и могут быть соединены.

И я с ужасом еще раз подумала: ну, с чем я могу еще раз сюда прийти? Но ужели – никогда больше?

Едва выйдя, я стала думать словами: «Я видела Ахматову. Я видела Ахматову».

И девочкам в общежитии я рассказала: «Я видела Ахматову». Я рассказывала это всем сразу (нас было шестеро в комнате) и потом поодиночке, особенно напирая на тяжелые веки. И иногда, когда я прикрывала глаза (была у меня такая привычка – или появилась?), кто-нибудь говорил:

– Руфа опускает веки. Как Ахматова.

И еще рукой показывали, как я это делаю.

И все-таки со страхом и вожделением я думала о том, как опять пойду туда, в дом Главсевморпути.

У меня был номер ее телефона. Видимо, я тогда же и записала, не иначе – Пунин продиктовал. Усатый Пунин, который оказался не только мужем Ахматовой, – это я узнала довольно скоро, тоже от Гуковского, – но и знаменитым искусствоведом. Это я узнала гораздо позже, через годы. Тогда я даже слова этого не знала – «искусствовед».

Гуковский – несравненный, ни с кем не сравнимый, да никто и не пытался сравнивать, – только историки говорили: «А у нас Тарле!» – Гуковский читал у нас на первом курсе введение в литературоведение. Раз в неделю в Малом зале, который окнами выходил на Неву, и мы видели Исаакиевский собор и позднюю зарю за ним, и повторяли – всю зиму! – друг другу ахматовские строчки: «вновь Исаакий в облаченьи – из литого серебра». Потому что золотой его купол покрывался льдом и снегом. Лекции Гуковского были для нас, первокурсников, но в Малый зал (не такой уж малый, кстати!) набивались студенты со всех курсов, и красавица Таня Иванова неизменно садилась на подоконник, и ленинградское солнце бледно сияло в ее светлых волосах. Гуковский –

ему было тогда тридцать четыре года – говорил о ней старшим студентам, с которыми дружил: «Княгиня Волконская! Княгиня Волконская!».

Для введения Гуковский читал нам четырех поэтов: Пушкина, Державина, Маяковского и Блока. Как читал! Как рассказывал! Сейчас о нем говорят с придыханием, а в пятидесятом году он умер на Лубянке. Но тогда, в тридцать шестом, он еще только защитил диссертацию и стал доктором наук, и вся жизнь была впереди.

И вот, говоря о Маяковском, он вдруг сказал:

– Он был гораздо шире, чем его представляют теперь... Надо было видеть, как он носился с пастернаковскими «в тот день всю тебя от гребенок до ног...», говорил, что это можно сравнить только с пушкинским: «я утром должен быть уверен, что с вами днем (мы-то все ждем вечера, а тут – днем) увижусь я...». И Ахматову любил. Да-да, Ахматову! Удивляйтесь!

– И пел на мотив «Ухарь-купец»...

– Да-да, конечно, «Сероглазого короля». И это еще одно подтверждение.

Разговор пошел в сторону – так всегда у него бывало; потом он широким витком возвращался к предмету. Речь пошла о звукописи. Он сказал:

– Помню, Владимир Николаевич Шилейко, муж Анны Андреевны, все ее поддразнивал: «Мне дали имя при крещении Анна – сладчайшее для губ людских и слуха». И удивлялся: для губ, для губ!

Вот тут-то я и решила ей позвонить, обязательно. И услышала в трубке ее голос – глуховатый, носовой, очень, показалось мне, петербургский. Я спросила, можно ли прийти.

– Можно.

– А когда?

– Сейчас, – сказала она.

Через много лет я рассказывала об этом Лидии Корнеевне. Она усмехнулась:

– Она всегда так. Если можно – то сейчас!

И я помчалась. Все уже было знакомо – двор, лестница, темнота. Дверь открыл мне светловолосый молодой человек с аккурат-

ным бледным лицом, очень гладко причесанный, очень чужой. Он сказал: «Можно, можно!» – и повел меня в ту самую большую комнату. Кроме него, там никого не было.

– Мама сейчас выйдет, – сказал он. – Садитесь. Гумилев. Сын Гумилева. «Так, что сыплется золото с кружев...»

Он со мной разговаривал вежливо, без особого интереса, но очень вежливо. А я, конечно, пялилась. Как это возможно. Быть сыном Гумилева и Ахматовой. Я читала роستانовского «Орленка». Там была строчка: «Мы, сыновья великих людей!».

Вот! Сын великих людей! Двух!

Отвлекусь. Потом оказалось, что Лев Гумилев бывает раз в неделю у нас на факультете. Он учился на историческом, но какие-то лекции историки слушали у нас. Я так думаю – политэкономия или, может быть, диамат-истмат. Потому что он эти лекции иногда пропускал (я свои тоже), и мы сидели на окне в коридоре и разговаривали. Правда, это не сразу наладилось. В первый раз я радостно поздоровалась, а он сделал вид, что меня не узнал. Я была оскорблена и унижена и на следующую неделю, когда он поздоровался, его не заметила. А коридор был вроде театрального фойе – все на переменах разгуливали там взад и вперед, и не встретиться несколько раз было невозможно.

Он громко сказал: «Здравствуйте». Я смотрела в другую сторону. На третий раз он меня остановил за локоть. Я локоть вырвала (семнадцать лет!), но остановилась. И он сказал мягко, убедительно, чуть шепелявым, очень чужим по интонации голосом:

– Вы меня не узнаете? Помните, вы к нам приходили?

И вот мы сидим на окне и разговариваем. Он рассказывает про своего лучшего друга («Николка мой»). Про этого Николку моя товарка по комнате, истеричка, рассказывала: «Он влюблен в такую девушку Нину и ходит за ней и повторяет: «Нина, вы – ландыш! Вы ландыш!»». И я своему собеседнику это рассказываю, конечно, и он снисходительно смеется – «он у меня романтик!». Только теперь мне пришло в голову: может быть, этот «Николка мой» – Николай Давыденков, которого я никогда не видела, но о котором почему-то периодически что-то узнавала. В первый раз – вот тогда, в тридцать шестом году (если это он), потом

во время войны от жены его однодельца Али, или Шуры, как мы ее тогда звали (он сел в тридцать восьмом, с целой группой, но тут пришел Берия и выпустил эту группу), потом от мужа своего после лагеря (они вместе сидели в Карабасе), от Лидии Корнеевны, от Нины Николаевны Берберовой, наконец (она рассказала о нем в книге «Курсив мой»).

И если говорить о литературе, то надо сказать, что я читала его воспоминания об этом аресте, напечатанные при немцах под другой фамилией. Видимо, очень хотелось ему это напечатать, потому что он густо заправил книжку антисемитизмом – нельзя было без этого или полагалось так, или редактор потребовал? Между тем те, кого с ним вместе посадили, не все, вероятно, но именно тот, кого он в книжке вывел, – принадлежали к этому племени.

Той осенью в ленинградской газете появилось интервью с Анной Ахматовой!

Там она говорила о том, как ценит и уважает Пастернака, и цитировала свои строчки: «и вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил...». И в следующем, кажется, номере – ее стихи, может быть, именно эти, с обычным тогда: гонорар за эти стихи прошу передать в фонд помощи испанским детям.

В августе 1936 года, когда я сдавала экзамены, происходили три начала. Первый – процесс Зиновьева и Каменева; перелет Чкалова – Байдукова – Белякова. «Они опустились в заливе Счастья – Счастье – это не только залив», стихи Долматовского; видно, с этим полетом было не совсем благополучно, но все равно Чкалов стал чем-то вроде «советского Линдберга», его любил Сталин (даже как-то укрывал ему, сонному, ноги), о нем ходили легенды и снимались фильмы. Слава была больше гагаринской.

И вот третье – испанская гражданская война. Боже мой, сколько плохих стихов тогда было напечатано! Помню, Эренбург особенно злился, что имя Долорес (Ибаррури, конечно!), где ударение стоит на втором «о», «маниакально рифмуют со словом «наперерез». (Кстати, я знаю, почему «Долорès»: потому что «три красавицы небес» из знаменитой песенки требовали именно этой рифмы.) Но стихи низвергались потоком. Наша универси-

тетская поэтесса Серебровская, незадолго перед тем ставшая матерью, тоже написала стихи об испанских женщинах, и там даже была хорошая строчка: «две капли молока», которые выступили на кофточке у матери...

И вот Ахматова просит отдать гонорар испанским детям.

– Да, – говорит мой собеседник.

И рассказывает, что в доме не было ни копейки, и мать сказала: вот получу гонорар из газеты, купим водки, колбасы... И тут позвонили и говорят: Анна Андреевна, не хотите ли вы пожертвовать свой гонорар в пользу испанских детей? Ну что было делать?

И то, кажется, я в первый раз услышала, как это делается. И помню, меня очень поразило, что – «водки». В интеллигентной среде, кажется мне, тогда водку не очень пили, с радости, во всяком случае. Но – могу и ошибиться, будучи одесситкой. Тогда там считалось, что водку ни с того ни с сего пьют только биндюжники.

Он первый заговорил о своем отце, я бы, вероятно, не посмела. Он рассказал, как, когда ему было четыре года, отец дал ему какую-то очень серьезную книгу (не помню названия, потому что оно ничего мне не сказало), и он попытался ее читать. Ничего не понял и бросил. Отец очень сердился. Но через некоторое время он опять попросил какую-нибудь большую книгу, и отец дал ему толстенную книгу по истории...

– И вы опять не прочли?

– Нет, прочел. (Он самодовольно усмехнулся.)

– И не поняли?

– Все понял.

И тогда я его спросила:

– Ну, а если вас спросить, как детей спрашивают, кого вы больше любите, папу или маму?

(В детстве на этот вопрос полагалось отвечать: одинаково! И родители на ревнивые вопросы старших детей, кого ты больше любишь, меня или ее (его), отвечали: одинаково.)

Я, помню, сконфузилась, когда этот дурацкий по бестактности вопрос задала. Но, против ожидания, он ответил очень серьезно:

– Папу, разумеется.

Он еще что-то сказал, но я была оглушена ответом и тем, что он совпал с предвидением.

– Я все читала, – хвастала я, вероятно, ответив на вопрос, в свою очередь. – И «Стол», и «Мика», и даже статьи. Даже наизусть запомнила: «А что стихи есть более высокая ступень, знает каждый, кто, долго обтачивая кусок прозы, силится сдерживать рождающийся ритм».

Я и сейчас эту цитату привела наизусть, так она меня когда-то поразила точностью наблюдения.

– А вот вы не читали «Стихи о голубой звезде». (Так мне запомнилось, наверное, он сказал «К синей», но я пишу только, как запомнилось.)

Я с огорчением призналась, что нет, не читала. Но он объяснил, что я и не могла читать, потому что вышла эта книжка за границей.

– А вы сами... вы пишете стихи?

– Пишу.

– Хорошие? (Это я спросила.)

– Хорошие, – сказал он убежденно.

Он держал себя так, как и должен был, вероятно, и произвел на меня впечатление абсолютного «контрика», и я – еще одесситка в душе, еще не ошарашенная тридцать седьмым и последующими тридцатыми годами, – приняла это тоже совершенно естественно.

Он рассказал мне анекдот про неверующего пономаря. Священник захотел просветить его душу: «Ну, вообрази, ты забрался на колокольню, упал оттуда и не разбился. Что это будет?». Пономарь ответил: «Случай». – «Ну, а если ты второй раз упадешь и не разобьешься, тогда что это будет?» – «Совпадение», – отвечает пономарь. У батюшки, видно, не было в запасе ничего другого. «Ну, а в третий раз упадешь, то это...» – «Это будет привычка», – ответил пономарь.

– И вот я тоже говорю: если меня в третий раз посадят, и я выйду – это будет привычка.

Я услышала в этих словах – пожалуй, тогда же услышала, – и браваду, и рисовку (привычную), и самую подлинную игру с огнем. И подумала с уважением: наследственное! И ужаснулась – вот к чему он себя готовит.

Я думаю, он не старался быть, как отец, но, скорее всего, судя по воспоминаниям о Гумилеве, которые мне довелось читать, он был на него человечески похож. Он, по-моему, был, как это в моем одесском детстве называлось, «фасонщик», в литературном переводе это означает, вероятно, – воображала. Только для того, чтобы соответствовать созданному образу, готовый на все. Но по собственному кодексу. Как-то наши встречи и разговоры тогда прекратились сами собой – по видимому, историки стали слушать лекции в другом месте. А потом его и в самом деле арестовали в третий раз, в тридцать восьмом году. Потом я его видела всего однажды – после войны, на Дворцовом мосту. Он остановил Юру Макогоненко, с которым мы шли. Я сразу его узнала – он не изменился. Ему предстоял – но мы еще об этом не догадывались – еще один, четвертый арест. Наверное, он вспомнил пономаря тогда, когда в четвертый раз освободился. И может быть, признал, что это было чудо. Чудо смерти Сталина.

Признаюсь, вот этот второй свой приход я запомнила только как встречу с Левой. Вероятно, Ахматова, в конце концов, все-таки вышла в столовую. Ничего не помню, только Леву, вежливо-го и незаинтересованного, за обеденным столом.

Но зимой, в декабре, я опять позвонила и на вопрос «когда можно прийти?» услышала: «Сейчас».

И вот это была встреча, которая сохраняется в памяти, как в морозилке, но оживает во всей свежести. Несмотря даже на то, что я столько, так часто и так подробно о ней рассказывала. Я помню, вижу ее и слышу. И еще помню осязательно тепло и уют. Правда, не помню, на чем сидела, но это, думаю, от восторга.

Это была крошечная комнатка, в которой мы сидели, – туда попадали прямо из столовой, мимо стола, мимо дивана. И там горела одна лампочка в одну свечу, как мне показалось, и она освещала книги – мне страшно хотелось посмотреть, потрогать книги эти в каких-то несовременных переплетках; они были на этажерке. А над тахтой, где сидела Ахматова в синем трикотиновом платье, – была, была тогда такая материя, из которой в Советском Союзе шили платья, а на Западе – белье, – так вот, сидела она

в этом платье, и на плечах у нее была шаль, а на стене над тахтой были две картинки: на одной какие-то нарядные бабы, на другой – длинное некрасивое мужское лицо. Про лицо Анна Андреевна сказала, что это портрет Хлебникова работы Маяковского, а про баб – что это Судейкин. Имя Судейкина тогда мне ничего не говорило, но Маяковский, да и Хлебников – ого! Она небрежно сказала: Маяковский подарил.

Мы разговаривали. В первый раз. Я осторожно спрашивала, она легко отвечала. Я спросила, кого она любит из поэтов. Она сказала: Пастернака. Вы же, наверное, читали, в газете я приводила: «Он, сам себя сравнивший с конским глазом...».

И дочитала до конца четверостишие. Ее чтение мне не понравилось, хотя я много лет себе в этом не признавалась. Она не читала, не декламировала – она гудела, как-то в нос, на «у». Рот у нее был маленький и узкий – или таким мне казался, – и все гласные получались очень закрытые. Примерно: оун сом себио... И в этом роде. Никогда не слышала ни такого гуденья, ни такого произношения. Я уже слышала поэтов – и школьных, и университетских. У плохих была восторженная интонация, у хороших – задумчивая интонация, но никто не гудел, не «гундел». Правда, я сразу поняла, – и не скидку на это сделала, а скорее, «накидку», то есть прибавила цену: так это делали тогда.

Не так давно я прочла в воспоминаниях Бориса Анрепа: «Н. В. (Недоброво. – Р. З.) никогда не пел своих стихов, как большинство современных поэтов».

Это воспоминание относится к 1916 году. И об ахматовском чтении стихов в 1965 году: «Певучее чтение мне казалось вытьем, я так давно не слыхал ничего подобного».

Даже на чтение стихов существует мода. Помню, в начале семидесятых я прочитала дочери какие-то стихи. Она поморщилась: «Ты читаешь с выражением». Тогда – да, похоже, и сейчас – и в России, и на Западе стало модно читать стихи тихо и тускло. И не только стихи. Вероятно, в этом сказывается весьма почтенное нежелание навязывать свое понимание, свою волю.

Я спросила Анну Андреевну, любит ли она Блока. Рассказала, что у нас Гуковский читает Блока, – вы ведь знаете Гуковского?

– О, конечно! Он был мужем Наташи Рыковой, моей любимой подруги. Ему тогда было девятнадцать лет – но он уже и тогда был такой, как теперь. Все знал!

– А знаете, он на лекции рассказывал, как Шилейко (я не знала имени-отчества Шилейко, так бы я сказала, например, Дельвиг, – кто же его по отчеству?), как Шилейко про эти стихи: «Мне дали имя при крещеньи Анна, сладчайшее для губ людских и слуха...».

Она усмехнулась воспоминанию, но возразила:

– Я вовсе не хотела сказать, что это был губной звук.

Много – двадцать девять! – лет спустя я брала у нее интервью для журнала «Произведения и мнения» (на иностранных языках) – там оно в причесанном и отглаженном виде было напечатано. Так вот, когда я уже уходила, взяв интервью, она сказала:

– Только, пожалуйста, не давайте прямую речь. Это всегда... не точно.

Я обещала. И теперь, когда даю тут ее слова, то только те, что врезались. И то – стараюсь без кавычек.

Я рассказала, что, по слухам, жена Блока была очень красива. Женщина, видевшая их после свадьбы, восклицала: «Весна! Совершенная весна!». (Имела она в виду, вероятно, оперу «Снегурочка» – ее семья была музыкальная.) И Анна Андреевна возмутилась:

– Ну какая там красивая! Белая, толстая... купчиха... Нет, конечно!

И лучше, чем слова, помню голос, а лучше, чем голос, – тело-движение: передернула плечами. И на лице гримаса отвращения.

Не принимала. Потом, через десятилетия, я прочла в чьей-то статье (не Филиппова ли?), что Анна Андреевна не любила всех жен (Н.Я. Мандельштам, кажется, исключение единственное). От Гончаровой начиная, конечно, и кончая этой: «Красотка очень молода». Ревновала? Как бы это сказать поточнее: негодовала, что первые движения мысли, духа шли не туда, не по адресу, а в пропасть, в ничто. Безотчетно.

Марина Цветаева – тоже ревнивая – это очень понимала, и именно она нашла утешительный ключ: полнота стремится к пустоте.

Но одно дело в воображении, другое дело – в реальности, в быту, во всамделишности. Ведь она ее встречала, знала в лицо. Да и тогда, в тридцать шестом, Любовь Дмитриевна жила тут же, в Ленинграде. Басаргина, кажется, была ее сценическая фамилия? Толстая, белая...

Помню, про Есенина (я тогда доживала свою отчаянную в него влюбленность) сказала: с Клюевым приходил... Такой мальчик-мальчик...

И про Брюсова: это не поэт (кстати, от нее я впервые услышала слово «поэт» через полное, круглое «о» и сама стала так говорить, хоть и стеснялась. А сейчас все так говорят). Не поэт... (жест). Века и народы!.. Повторила: века и народы. И легко махнула рукой.

О Мандельштаме – ни слова. Я тогда и имени его не знала. До самого сорок третьего года, когда мне прочли «Волка».

И вдруг посреди разговора она сказала: – Хотите, я вам стихи почитаю? И мой чуть не вскрик.

Она прочитала четыре. Первое было «Когда я ночью жду ее прихода...». Это то самое, которое 28 лет спустя она читала в Италии, когда получала премию Таормина. (В прелестных воспоминаниях Ирины Пуниной (дочери Н. Н.) рассказывает, как это было. И как Твардовский одними губами беззвучно повторял: «Что почести, что слава, что свобода».) В ту минуту я не задумывалась, запоминала, присваивала, заглывала – и для того, чтобы потом повторить другим, похвастать. Не собой, но все же...

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Я думала тогда, это – личное. Про то, что тогда еще, кажется, не называлось «личная жизнь». Грядущий Ад еще не наступил – только кончался тридцать шестой. И несмотря на тот первый, августовский процесс, – становилось легче. И в высшие учебные заведения принимают по знаниям – ну, по отметкам, если хотите. И Демьяну Бедному попало за «Богатырей» –

историю как бы реабилитируют в ее классическом виде. И вот Ахматову напечатали...

– Ты вспомни, – сказали мне теперь, недавно, когда я об этом говорила, – ведь она-то все помнила, она же всех потеряла...

Да, но в это, как раз в это время, когда она прочла мне «страницы Ада», у нее-то пошло все лучше?

И все-таки, думаю – нет. Я знаю – поэты что-то слышат, чего не слышим мы. Чего не слышат другие. Словно бы себе напроорочила и «Реквием», и «Падишаха», и блокаду... Потому что до этого – не было оснований узнавать в милой гостье дантовскую музу. А вот узнала. До всех очередей на улице Воинова.

И другое стихотворение – опять про Данте: «Он и после смерти не вернулся... в старую Флоренцию свою».

Сразу вспомнила ее голос, похожий на ветер в трубе. Этим голосом она говорила: «Я видела приговор... Он должен был пройти по улицам Флоренции босой, в рубахе, со свечой... Старинная бумага, очень плохая латынь...».

Странная вещь. В это время Данте в Ленинграде, да позволено мне будет так выразиться, «вошел в моду». Всюду говорили о переводе Лозинского. А немного раньше начинающий писатель Кронид Гарновский – я прочла об этом в его неопубликованной повести-воспоминании – стал переводить «Божественную комедию» в честь Ирины Кнорринг, своей Беатриче. (Ирина Кнорринг – не известная парижская поэтесса, а ее тезка и младшая современница, ленинградская студентка 30-х годов.) Гарновский перевел несколько песен, и хорошо перевел, и в издательстве понравилось, и ему сказали, что уже сдан в редакцию перевод Михаила Лозинского.

И это, ахматовское, осенью тридцать шестого года созданное «Он и после смерти не вернулся...».

Третье было: «Не прислал ли лебедя за мною...». Там были слова: «Ты весной шестнадцатого года...». Теперь это печатается иначе: не «ты», а «он». Но тогда было «ты». Кто? Откуда мне было знать тогда? Это теперь я знаю благодаря Филиппову и Струве, благодаря сэру Исаяе Берлину, благодаря тартуской школе, благодаря времени, которое все засыпает своим песком, и сыпет, и сыпет, и сыпет, пока вдруг само не сдует его прочь. Но услышь

я тогда имя Бориса Анрепа, к которому эти стихи обращены, я бы не поверила. Это должен был быть кто-то знаменитый, кто-то вроде Блока. Первое, что я услышала об Ахматовой: «Она любила Блока». Легенда, к которой она, по-видимому, сама была причастна. Иначе откуда же у матери Блока рассказ:

«...Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и нежную... И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его полюбить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. Он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первые:

Слава тебе, безысходная боль, –
Умер вчера сероглазый король...

Вот можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок».

Это из письма, написанного в начале 1914 года. Слухи, легенды, иная реальность.

А реальный Борис Анреп через шестнадцать лет после того, как Ахматова прочла мне эти поразившие меня стихи, увековечил ее лицо в мозаике.

А теперь обратно, в ту крошечную комнату. Последнее, что она прочла, было:

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву...
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоём живу.

Тут уж, казалось мне, я поняла все: конечно, это «тому человеку», Пунину. «Одинокой и бескрылой я в дому твоём живу... одинокой и бескрылой»...

Так мне тогда запомнилось – «одинокой», и так я повторяла. Хотя «прирученной» куда лучше. Но, видно, «одинокой» больше соответствовало моему представлению.

Я шла домой и повторяла стихи – как оказалось потом, когда я прочла их глазами, почти не перевирая, только вот это – «одинокой»... Некоторые я вспомню вечером. Слова Ахматовой сами помогают себя вспомнить – уж очень они точные. Я вспоминала и повторяла. И ликовала: в первый раз мне в этом доме было хорошо. Как-то вдруг Ахматова и все, в чем она жила, перестало принадлежать к поколению родителей. Она стала такая же живая, как моя подруга... Словно вышла из портретной рамы – зашевелилась, потеплела, а потом и вовсе соскочила в нашу трехмерность из своего четвертого измерения. Потому что живет она там – в весне шестнадцатого года. А сюда соскочила на часок – ко мне.

И голос с подвывом, которым читались стихи... Когда я шла домой, это тоже стало подарком – вот никто не знает, как это делалось «тогда», а я знаю... Боже, сколько я узнала, сколько услышала, увидела, поняла, наконец. И обогрелась – у какого-то неожиданного, чуждого, странного, как бы иностранного, а может, инопланетного тепла...

И теперь вдруг понимаю – если так чувствовала я в тридцать шестом году, то что же это было через двадцать, двадцать пять лет для тех, новых, в тридцать шестом еще и не родившихся? Для тех, кого потом называли «ахматовские сироты», – для Бродского, Бобышева, Наймана, Рейна? Впрочем, они были поэты, а кроме того – ленинградцы, а кроме того, в памяти у них был не семнадцатый, а сорок шестой. И вообще – рука, протянутая через поколение, – не отцам, которых не приемлешь, а дедам, и в литературе, и в жизни несомненное, как выбор, а не данность.

И еще одно важное. Они не только связи с прошлым искали. Помню, редактор последнего прижизненного сборника Ахматовой говорил ей:

– А не лучше ли вместо того, чтобы вводить все новые и новые стихи, расширять сборник за счет моих любимых старых – ну, например, этого: «Звенела музыка в саду...». Или, например, – «Ты верный и нежный...». Читатель ведь любит, их ждет...

Вероятно, такие изъявления любви особенно больно ранят поэта. Пушкин не хотел оставаться для новых поколений «певцом Людмилы и Руслана». Пастернак не любил своих моло-

дых стихов. Маяковский удивлялся, что его «Облако в штанах» еще помнят... Поэт может мечтать о славе или пресытиться ею, но ему важно быть живым среди живых. И четыре непочтительных мальчика не просто ловили слова и суждения Анны Ахматовой, не только читали ей свои стихи, но и, сознательно или бессознательно, включили ее в свое соперничающее содружество. Она стала не только центром этого маленького кружка, но и его равноправным членом, где ее поэтическое слово существовало, обрело существование в поэтической реальности шестидесятых и предстоящих годов.

Все это пришло мне в голову теперь, когда стала вспоминать. В 1936 году, выходя от Анны Ахматовой, я просто была счастлива – словно меду напилась.

Очень скоро после этой счастливой встречи начались зимние каникулы, и я уехала домой, и рассказывала тем, кому это могло быть интересно (их в Одессе тогда немного было – из этого города была выпущена литературная кровь), и читала наизусть то, что запомнила. Я вернулась в Ленинград только в марте 1937 года. Позвонила – «нет, сейчас нельзя». Еще позвонила, и еще – но ни разу не было: «Приходите сейчас!». Ни разу. И я отстала.

Шел тридцать седьмой год.

Тридцать седьмой год катился мимо меня. Собственно, по-настоящему все началось после того, как товарищ Сталин сказал, что нельзя объявлять троцкистом того, кто случайно по одной улице с троцкистом прошел. Это было весной, я слушала эту речь его по радио, раздававшемуся из соседней комнаты. В нашем лифлийском общежитии на Мытнинской набережной была хорошая слышимость. В соседней, 13-й комнате, жили мужчины, в том числе Ахилл Левинтон, скептический одессит. И когда речь закончилась, он, скептик, захопал. Мы тогда еще не знали, даже Ахилл не знал, что каждое такое сталинское тактическое отступление, словесная рокировка – сигнал к избиению неверных, к варфоломеевской ночи на годы и годы; не умели еще расслышать «ату его!» в кавказском неторопливом голосе. Потом научились.

И все-таки и тридцать седьмой, и следующий – тридцать восьмой – а я до самого мая, до отъезда в Испанию провела его

в Ленинграде – прошли, прошли мимо, все-таки мимо, и это значит, не по костям. Я не была не только комсомолкой – меня даже в профсоюз не приняли. Единственный, пожалуй, на факультете случай: профорг нашей группы, очень активная девушка из Киева, совершенно неожиданно, когда на приемном собрании дошло до моей фамилии, сказала: «У меня есть отвод». Отвод за то, что у меня бывают пропуски (прогулы, по-тогдашнему). Я сказала – это же университет, не обязательно же на все ходить. Тут я сразу получила по рукам от секретаря профкома, тоже активистки: «...может быть, это очень милая наивная первокурсница, но...». И не приняли. В коридоре меня ждал будущий профессор Тураев: «Ну, приняли?» – «Нет». Он удивился безмерно, спросил: «Шутка?».

Это я к тому, что меня исключать было неоткуда, и об исключениях, которых становилось все больше и больше, так что к тридцать девятому году, по определению Ахилла Левинтона, двести пятьдесят человек исключило из своих рядов шестьсот, – так вот об этих исключениях я узнавала только из «рассказов по секрету». Комсомольцам не полагалось делиться своими делами с внесоюзной молодежью. Но, конечно, я читала объявления на стенах факультета.

На обойной бумаге, крупно: персональное дело... И еще крупнее – фамилия. Навеки запомнились две: Борщ и Гроза. Это были молдаване, их посадили. Как и немцев, как и финнов, и северян, и каких-то невнятных нацменов... Помню немца, Арно Плантнера: он был романтик, носил на груди в прямоугольном медальоне фотографию Тани Ивановой (той самой красавицы «княгини Волконской») и говорил: «Это моя иконка». Он исчез раньше всех, и я ничего не знаю о нем, кроме имени и этой знаменитой на факультете «иконки», но пусть сохранится его имя, пусть кто-нибудь подумает о нем хоть в эту минуту.

Из простенков университетского коридора исчезли портреты профессоров, пока, наконец, кто-то не догадался вообще уничтожить эту портретную галерею. Потом из витрины на Невском исчезли три маршала – осталось два. Время катилось под грохот и скрип невидимых тележек с приговоренными. И в это время пришлось нам жить, ходить на лекции Гуковского, целоваться

на спусках Невы – «у шаров», сдавать политэкономии по первому тому «Капитала», процарапывать первые углубления в стенах каменеющего общества – для будущей экологической ниши, хотя мы сами этого не понимали. Мы читали старые книги в то время не по курсу, не для экзаменов, не для наслаждения даже и не для эскепизма: мы искали и находили в книгах объяснения и исторические параллели.

...Я видела Ахматову несколько раз за тридцать последующих лет. В Ташкенте на улице, – если бы я не знала, что она там живет, может, и прошла бы мимо. Она пополнела и ничуть не была похожа на себя зимы тридцать шестого года: красивая элегантная старая дама. Благополучная. У меня была уже ее крошечная ташкентская книжка. Я знала, что раньше вышла в Ленинграде другая, – «Из шести книг». Это все было очень удивительно, и радостно, и почти невероятно. Я поздоровалась, остановилась, что-то сказала про то, как она прекрасно выглядит. Сказала, что приходила к ней в тридцать шестом году.

– Ах, да, – сказала она приветливо. – Вы, кажется, стихи читали.

И то сказать, зачем бы я приходила, если бы не свои стихи читать.

И еще раз я видела ее зимой сорок пятого – сорок шестого года в Ленинграде, в гостиной Дома ученых. Это был ее вечер. Горел камин, она читала стихи стоя; Борис Михайлович Эйхенбаум тогда говорил (почему-то мне кажется, после стихов) о том, что женщине дано сохранять и передавать память. Это были удивительно свежие слова – для меня, во всяком случае. Как сказали бы теперь, «нормальные». То есть естественные, выражавшие мысль, результат мышления. И это было удивительно, потому что несмотря на тихий жар камина и мягкую мебель, и даже приглушенное освещение, это было официальное «мероприятие» Дома ученых, внесенное в календарный план работы, и что бы ни читал приглашенный поэт, грусть даже Ахматова, но слова о ней ожидалась привычные, клишированные, жестяные...

Через полгода был доклад Жданова и «Постановление», и там слова были уже не жестяные – свинцовые. Девять граммов свинца весило каждое слово.

Передавали: Сталин сказал, что он два года будет заниматься только идеологией. Кажется, так оно и было, ну, с некоторым перевыполнением. Два с половиной. До весны сорок девятого, когда закончился первый всплеск антикосмополитической кампании. Дальше он, видимо, пустил дело на самотек. И перешел к языкознанию.

И как-то очень быстро или, может быть, очень закономерно после сорок шестого наступил сорок девятый год и новый – по убывающей – всплеск террора, на этот раз нас с мужем не миновавший. В течение двух лет мы, каждый дорогами собственной лагерной судьбы, неуклонно двигались на восток; муж достиг Колымы, а меня остановило в Райчихинске: есть такой небольшой город в Уссурийском крае – там уголь залегает неглубоко, и его добывают не в шахтах, а в открытых «разрезах».

Вот там, в Райчихинске, девочки, с которыми мы вместе приехали из Чистюньских лагерей, решили раздобыть мне благодатную работенку, чтобы я могла возглавить нашу театральную самодеятельность, которую они, конечно, называли «агиткой». Почему они так решили и как это сделали, – до сих пор не знаю, но меня вызвали к начальнику лагпункта на «интервью», чтобы сделать начальницей ларька.

Мне совершенно не хотелось никакого ларька, я денег боялась, как огня, и к счастью, начальство, проводившее интервью, сразу поняло, что я для этого не гожусь. Но первый вопрос, который был мне задан, заслуживает внимания.

Начальник, крупный мужчина, похожий на медведя, с медвежьей невнятной речью, спросил:

– Из Ленинграда, значит? И эту... Ахмакову... знаете?

На дворе уже был пятьдесят первый год, но для этого человека, вряд ли проводившего много времени за чтением художественной литературы, два понятия, нет, не понятия, просто два слова – «Ленинград» и «Ахматова» – слились воедино. Бедняга, он, конечно же, прорабатывал на партсобраниях «Постановление о «Звезде» и «Ленинграде» и задолбил фамилии Ахматовой и Зощенко... К тому времени никто уже не помнил, что Ленинград – колыбель революции. Ленинград был городом, про который надо было заучивать длинное и совершенно загадочное

постановление: ни шпионажа, ни вредительства, слова непонятные: «блудница», «моленная»...

И все-таки странно мне было услышать эту перевернутую фамилию в семи часовых поясах от Невы.

Нет, я ни разу не встретилась с ней больше – до самого 1964 года. Когда она уже была в полной славе, когда уже был в ссылке Бродский, когда уже позади были и Таормина (первая и последняя полученная ею литературная премия), и Оксфорд, когда Вера Панова, услышав от Евгении Гинзбург, что она была у Ахматовой, спросила язвительно:

– Ну что, водила вас по себе, как по музею?

Меня не водила. Меня к ней послал журнал «Советская литература» на иностранных языках, точнее – его отросток, который назывался «Произведения и мнения» (тоже на иностранных языках). В общем, мое интервью с Ахматовой вышло в обоих одновременно – в марте 1965 года: очень скоро, необычно скоро после того, как я его взяла.

Интервью было как интервью, вопросы самые обычные – над чем работаете, есть ли у вас определенные рабочие часы (ее этот вопрос даже развеселил – она ведь и за пять минут до того, как начнутся стихи, этого не предвидит!), правда ли, что она считает наше время золотым веком русской поэзии (да, потому что никогда не было к поэзии такого широкого, общего, универсального интереса. Попутно я узнаю от нее – опять узнаю! – что выражение «серебряный век» принадлежит Бердяеву). Я ушла довольно скоро, озабоченная тем, что надо будет прийти еще раз, чтобы авторизовать интервью и ни в коем случае не допустить там прямой речи. Я-то не допустила, но редактор немедленно преобразовал косвенную речь в прямую, – и убрал все мои реминисценции 1936 года. Лозунг в это время был «не надо сыпать соль на раны!».

Я пришла еще раз, прочла свой текст... Кстати, там было единственное наблюдение: классической челки не стало, лоб открыт... Я скосила глаза на Анну Андреевну и увидела: она с лукавой улыбкой выпускает челку на прежнее место.

Комната была не та, и Ахматова была не та, и окружена она была плотно молодыми поэтами, годившимися мне в сыновья, –

а у нее к ним возрастной ценз не применялся: она была в кругу поэтов. И в Италию она ездила, и в Оксфорд, и слава уже не погремушкой трещала, а облекла ее, как облако, и начальство преклонилось... Ей удалось немислимое: она добилась у Суркова московской квартиры для Надежды Яковлевны Мандельштам. Она была этим смущенно счастлива, так мне показалось. Я сказала, что даже Фриде это не удалось. Она спросила с удивительной, незнакомой мне прежде, от глубин души, интонацией:

– Что с Фридой?

Она еще не знала, что у Фриды рак. Я сказала, что мы все надеемся.

Она показалась мне в тот раз счастливой. Во всяком случае, таким представлялось мне возможное счастье: человек чувствует себя уютно в собственной коже. И Модильяни – ее портретик – уже висел чуть не во всех интеллигентных обиталищах Ленинграда, вытеснив Хемингуэя. Она много улыбалась, шутила, охотно читала отрывки из своих литературоведческих штудий: «Не бойтесь, я не стану вас душить трагедией в углу», – и о Лермонтове фрагмент, не знаю, напечатанный ли когда: «В прозе он сам себя опередил на целое столетие...».

Прекрасный вечер жизни.

А вот стихи того времени. Того счастливого времени:

Как идола, молю я дверь:
Не пропускай беду!
Кто воет за стеной, как зверь,
Что прячется в саду?

Вспоминаю: зимой шестьдесят второго года в Комарове я спросила Лидию Корнеевну, кто это в «Поэме без героя» – «гость из будущего»? Она засмеялась и сказала:

– Английский лорд!

Я была так потрясена, что больше ни о чем не расспрашивала. Лет через пять в Зеленогорске на даче по Би-Би-Си – его не глушили, значит, это было до Чехословакии, – я услышала лекцию об «Отцах и детях» – да-да, просто о тургеневском романе. Голос был незнакомый, я включила радио с запозданием, так что знать

не знала, кто это так прелестно и умно, и даже весело о Тургеневе рассказывает. И язык был такой – не советский русский, но очень русский, прежний русский, и в манере говорить такая естественная свобода...

Потом, когда он закончил, диктор сказал, что лекцию об «Отцах и детях» прочел сэра Исайя Берлин. Он сказал о нем всего несколько слов – о его ученых заслугах и о том, что он ездил в Советский Союз вскоре после войны. Тут я поняла, кто же был «английский лорд». Мы встретились с сэром Исайей через много лет в Пизе, на симпозиуме по Просвещению. Пиза для меня – одно из сильнейших итальянских впечатлений. Во-первых, самое первое; во-вторых, Площадь Чудес, которая полностью оправдала свое название, реализовав детскую мечту о рафинадном городе; в-третьих, и, пожалуй, в самых главных, сэра Исайя. Нас к нему подвели во дворе университета. Его держал под руку кто-то из молодых профессоров, и я уже подготовилась к встрече с развалинами Помпеи. Худой, выше среднего роста, в темных очках... И тут он заговорил – весело, оживленно, засмеялся – не рассмеялся, а просто закатился смехом. Это когда его назвали Энеем.

– Эней? Да, да, я знаю, что я в Советском Союзе получил эту репутацию. Ну как же! В Лондоне живет Саломея Андроникова – может быть, слышали? Она не то чтобы красная, но, скажем, розовая. И вот она мне написала, что больше не может со мной поддерживать отношения, раз я так поступил с Ахматовой.

«...Всегда нарядней всех, всех розовой и выше...»

Знаменитая история о том, как сэра Исайя Берлин посетил Ахматову в Фонтанном доме (она считала, что именно это вызвало ждановское постановление и даже холодную войну), рассказана им самим, и этот рассказ вышел на русском языке (в переводе). Я впервые услышала эту историю из его уст тогда, в Пизе, а потом еще раз, десять лет спустя. Все дело в том, что крепко выпивший Рандольф Черчилль (сын Уинстона Черчилля!), который на беду в то время случился в Ленинграде, с решимостью британца среди ночи пришел искать Берлина во двор Фонтанного дома. Он не знал номера квартиры, более того, не знал, к кому тот от-

правился. Но он твердо решил его найти. И, остановившись посреди огромного двора, рывкнул что было мочи:

– Изайя!

– Представляете себе? Я своим ушам не поверил. Мы и знакомы-то почти не были. Но опять слышу свое имя. Выглянул в окно. Да, он, Рандольф Черчилль, стоит посреди двора. Ну, я, конечно, помчался вниз – он мог бы вызвать у вас новую революцию!

Если допустить, что по чьему-то недосмотру, – маловероятно, но все-таки! – за профессором Берлиным никто не пошел следом... Да нет, и этого не могло быть, конечно, кто-то потащился. Но уж Рандольф Черчилль, да еще и пьяный, не тот зверь, которого можно выпустить на ночные улицы Ленинграда без наблюдения. Интересно, сколько человек было поднято на это дело? И прочтем ли мы когда-нибудь в «Огоньке» их воспоминания?

Сэр Исайя и сейчас, сорок с лишним лет спустя, человек обаятельный, притом из тех, кто никаких усилий к этому не прилагает. Ему просто очень интересен тот, с кем он в данную минуту разговаривает; он без напряжения улавливает ход его мысли, мгновенно и деликатно угадывает подтекст, радуется шутке; он не монологист, хотя и великолепный рассказчик; он – собеседник, не подавляющий ни на минуту ни своей образованностью, ни своим изысканным чувством юмора. Тогда, в сороковые годы, он был уже очень знаменит в Англии; о нем рассказывали анекдоты (в пушкинском, старинном смысле), повторяли его словечки. Он был первым профессором Оксфорда – евреем, кем-то вроде Дизраэли от литературоведения. И он один из тех немногих, кто чувствует себя вполне уютно в собственной шкуре – ни кокетства, ни позы, а если и есть поза, то – «ваша правда, так надо играть». Когда его спросили, как его отчество, он сказал:

– О, меня называют и Максимовичем, и Михайловичем. А на самом деле я – Менделевич.

Умный человек. Унейший. Прочно стоящий на земле, но понимающий тех, кто живет в ритмах и синкопах собственного воображения. Человек, ставший при жизни поэтической легендой, и этим нимало не озабоченный, слушающий, умеющий слышать других.

Но понял ли он, что и в самом деле стал Энеем? В поэтической реальности. И что розовая Саломея, давно уже «Тень», тут была права?

– Впрочем, мы с ней довольно скоро помирились, – сказал он.

Рассказывают, что он немало ей помогал в последние годы ее жизни. Как и многим другим, впрочем.

Года полтора назад мне опять посчастливилось увидеть этого удивительного человека в его кабинете в Оксфордском колледже Всех душ. Вот тогда-то он и велел посмотреть анреповские мозаики.

– Скажите там работникам, что вы от меня. Пусть они вам дадут фотографии этой мозаики. У них есть.

Он произнес «мозайки». С ударением на первом «и». Конечно, мы пошли в Национальную галерею на следующий же день. Стихов Ахматовой я не перечитывала давно, но дала себе слово – как только вернемся домой, непременно...

Вот эти стихи, которые я помнила (с пропусками) более пятидесяти лет:

Не прислал ли лебеда за мною,
Или лодку, или черный плот?
Он в шестнадцатом году весною
Обещал, что скоро сам придет.
Он в шестнадцатом году весною
Говорил, что птицей прилечу
Через мрак и смерть к его покою,
Прикоснусь крылом к его плечу.
Мне его еще смеются очи
И теперь, шестнадцатой весной.
Что мне делать! Ангел полуночи
До зари беседует со мной.

Под стихами стоит дата: «Февраль 1936». Через шестнадцать лет, в 1952 году в Лондоне состоялось открытие мозаики Бориса Анрепа, выложенной на полу вестибюля Национальной галереи. Он считал, что на полу мозаичные портреты доступнее смотрящему. Мозаика имела общее название – «Современ-

ные добродетели». Добродетелей – то есть сюжетов картин – пятнадцать. Это одновременно и портреты. Так, сюжет «Вызов» изображает Черчилля, который вызывает на бой чудовище в виде свастики, поднявшееся у белых скал Дувра; поэт Элиот (сюжет «Досуги») созерцает добродушное чудовище Лох-Несс; актриса Лоретта Янг (сюжет «Компромисс») олицетворяет англо-американскую дружбу; в сюжете «Сострадание» изображена Анна Ахматова.

Вот и не верь после этого в ритмическую мистику чисел. «Ты в шестнадцатом году весной» (то есть когда миновало 16 лет) – и открытие мозаики через шестнадцать лет после проставленной под стихами Ахматовой даты.

В брошюре, посвященной мозаикам Анрепа, – мы таки выпросили ее, сославшись на профессора Берлина, – об «ахматовском сюжете» говорится: «русская поэтесса Анна Ахматова, которую ангел спасает от ужасов войны».

Интересно, доложили ли тогда в Москву об этом? Пятьдесят второй год в Советском Союзе был мрачный...

Когда рассматриваешь «Сострадание», в первую минуту чувствуешь – это не то, чего вы ожидали. Вы думали увидеть сострадание ее, героини, к другим. И вдруг – она оказывается не субъектом, а объектом сострадания: среди скелетов и обрушившихся кирпичей блокадного Ленинграда ангел с опущенными крыльями и поднятыми, оберегающими руками отделяет упавшую, но живую женскую фигуру от хаоса смерти. Ахматова узнаваема, пожалуй, только по нехарактерной для времени челке и потому, что мы знаем, что это она.

Этот ангел – единственный, на других мозаиках – чудовища, злые и добрые, апокалиптические, сказочные, мифологические. А тут ангел, может быть, даже ангел полуночи, прилетевший сюда из стихов...

Конечно, Анреп мог знать эти стихи – они были напечатаны в сборнике 1940 года «Из шести книг». Мог и не знать – он был далек от русской эмиграции. Как бы то ни было, знал или не знал, он откликнулся. Ахматова же впервые услышала про этот свой портрет только в шестьдесят пятом году в Оксфорде, от сэра Берлина.

«Она ничего об этом не знала и была глубоко тронута», – вспоминает он.

В ахматовской поэтической реальности Анреп и Берлин, живущие в Англии, появившиеся там почти в одно время, давно уже бывшие и адресатами, и персонажами ее стихов и оказавшиеся почти рядом в «Поэме без героя», стали ее вечными космическими спутниками.

Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне... –

писала она об Анрепе в 1961 году. И Анреп, когда в 1966 году Глеб Струве переслал ему эти стихи, отозвался: «Одно из самых мучительно-трогательных стихотворений А. А. Почти каждое слово основано на пережитом, одето пронзительной фантазией, незабвенным чувством».

Основано на пережитом – и одето пронзительной фантазией.
И о Берлине:

Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый век.

Я уже говорила: Анна Андреевна считала, что встреча сорок пятого года положила начало холодной войне. «Я не мог и подумать, чтобы возразить ей, – пишет Берлин. – ...это был бы удар по историко-метафизическому видению, которым проникнуто так много ее стихов...»

И он же писал про ее «иронический юмор... сосуществовавший с представлением о мире... иногда – провидческим и пророческим».

Мне рассказывали, что Лев Николаевич Гумилев выступал по телевидению и сказал, что время все равно проходит через поэта, хочет он того или нет. И оно диктует поэту – поэт не «сам пишет».

Пожалуй, это верно.

Только слышит поэт во времени не всегда то, что слышат его современники, и очень редко то, что его заставляют слышать. Как бы ни старался.

Время – понятие для поэта странное. «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Кажется, это самая расхожая, самая бытовая, самая реальная категория – бывает, что этой реальной категории он и не слышит.

Потому что и в самой бытовой реальности его реальность – другая.

1989

Руфь Александровна Зернова, прозаик, родилась в Одессе в 1919 году. Воспоминания своей матери об Анне Ахматовой предоставил нашему альманаху фотхудожник Марк Серман, Нью-Йорк.

